

Сергей Ушакин

УЖАСАЮЩАЯ МИМИКРИЯ САМИЗДАТА

От автора: Я хочу поблагодарить Ким Лейн Шепеле, Ольгу Байн, Никласа Дёркса, Брюса Гранта, Мэрилин Иви, Шерри Ортнер, Ирину Савкину и анонимного рецензента из *Public Culture* за вдохновляющие комментарии и полезные предложения к более ранним версиям эссе. Совет по международным исследованиям и обменам (IREX) предоставил щедрую финансовую поддержку для проведения исследования через программу малых грантов IREX.

Перевод с англ.: <http://gefter.ru/archive/6204>

Источник: *Serguei Alex. Oushakine The Terrifying Mimicry of Samizdat*
// *Public Culture*. 2001. Vol. 13 (2). P. 191–214.

Я думаю, что попытка вообразить иную систему есть не что иное, как попытка расширить границы участия в уже существующей системе. Вероятно, именно это и произошло в истории Советского Союза.

Michel Foucault. Language, Counter-Memory, Practice.

В какой-то момент борьба угнетенных была настолько романтизирована..., что в итоге все забыли о том, что прекрасно известно каждому, кто наблюдал эту борьбу вблизи: умы угнетенных тоже угнетены.

Pierre Bourdieu. In Other Words.

Исследования Советского Союза на Западе годами фокусировались на динамике господства и сопротивления, и в центре этих исследований по праву находились советские диссиденты. Исчезновение советской системы драматически изменило эту ситуацию. Диссиденты не только оказались не в состоянии сыграть роль активных субъектов политики в постсоветской России — они еще и фактически прекратили свое существование в качестве объекта академических исследований. Это эссе — попытка вернуть диссидентское движение к жизни. Предлагая свое прочтение документов самиздата, которые циркулировали среди диссидентов с конца 1960-х до конца 1970-х годов, я постараюсь избежать давней советологической традиции, согласно которой тексты самиздата рассматривались исключительно в контексте идеологической борьбы правозащитников с господствующей политической структурой. Вместо этого я бы хотел прочитать эти документы сквозь дискурсивную сеть советского общества, внутри которой они были задуманы (или пойманы?) и следы которой они на себе несли. Анализируя риторику публичного политического инакомыслия в Советском Союзе, я предлагаю фукодианскую версию миметического сопротивления, которая значительно отличается от влиятельного подхода скрытых сценариев сопротивления, развитого в работе Джеймса Скотта и принятого некоторыми исследователями русского/советского общества. Вопреки традиции помещать сопротивление **вне** властного поля — будь то «скрытые»

области подполья, задворок или авансцены господствующего режима — я утверждаю, что оппозиционный дискурс советского правозащитного движения в значительной степени проявлял себя как «поверхностный», а не как «глубинный» феномен. В известном смысле оппозиционный дискурс делил с господствующим дискурсом одно и то же символическое поле: он, скорее, отражал и усиливал риторику режима, чем позиционировал себя вне его или под ним [1].

Забывая самиздат

Среди символов быстрого распада Советского Союза слово *гласность* является, вероятно, наиболее известным. Традиционно *гласность* переводится на английский как *открытость* (*openness*) или *прозрачность* (*transparency*). Будучи по сути верным, этот перевод упускает один ключевой момент. Этимологически гласность происходит от русского слова *глас* (голос). Таким образом, «придавать что-то гласности» означает становиться субъектом публичной речи или, иначе говоря, осуществлять свою деятельность в форме публично доступного дискурса.

Разумеется, слово *гласность*, часто ассоциируемое с политикой Михаила Горбачева, использовалось задолго до перестройки. В феврале 1956 года Никита Хрущев сформулировал идею открытости и публичной критики в своей знаменитой речи «О культе личности и его последствиях», прочитанной на двадцатом съезде Коммунистической партии [2]. По иронии судьбы, именно советские диссиденты — эти «дети хрущевской оттепели [3]» — приняли идеи Хрущева всерьез, став в 1960-х и 1970-х годах, пожалуй, наиболее активными и последовательными поборниками политики гласности. Александр Солженицын, писатель, которого обычно воспринимают как образец советского диссидентского движения, писал в 1969 году в своем «Открытом письме Секретариату Союза писателей РСФСР»: «*Гласность*, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, тот равнодушен к отечеству» [4]. Владимир Буковский, еще один выдающийся советский диссидент, в 1979 году описывал задачу диссидентов следующим образом:

«Мы не играли в политику, не сочиняли программ “освобождения народа”... Нашим единственным оружием была гласность. Не пропаганда, а гласность, чтобы никто не мог сказать потом: “Я не знал”... И победы мы не ждали — не могло быть ни малейшей надежды на победу. Но каждый хотел иметь право сказать своим потомкам: “Я сделал все, что мог. Я был гражданином, добивался законности”» [5].

Несмотря на огромную роль в борьбе за гласность и на значительное влияние на общественное сознание в Советском Союзе, присутствие диссидентов в постсоветском российском публичном дискурсе близко к нулю. Вместе с их исчезновением быстро угасли и исследования самиздата в западной советологии. Удивительно, но и поле посткоммунистических исследований, возникающее внутри и вне России, — будь то изучение корней постсоветской идентичности, культуры и дискурсивных практик или исследование природы того, что Томас Лахузен назвал «позднесоветской культурой», — до сих пор не было заинтересовано в обращении к диссидентскому движению в культурной

перспективе [6]. В основе этого нежелания видеть в диссидентском политическом движении объект культурного анализа, на мой взгляд, лежит по меньшей мере две традиции. Первая из них связана с общим стремлением увязывать советскую диссидентскую культуру исключительно с областью художественных артефактов. Вторая традиция определяется желанием вписывать формы любого инакомыслия в России или Советском Союзе в рамки борьбы интеллигенции и властных институтов. Позволю себе коротко прокомментировать эти две традиции.

Сергей Ковалев, известный советский правозащитник, назвал самиздат «Интернетом для бедных» [7]. Самиздат возник в 1950-х годах и был одновременно механизмом воспроизведения и институтом распространения недоступных текстов. Воспроизводя в машинописной форме никогда не публиковавшиеся тексты и/или тексты, изъятые из печати по идеологическим соображениям, активисты самиздата преодолевали дефицит литературы, созданный государственной монополией на книгоиздание. Андрей Синявский, советский писатель и диссидент, вспоминал, что самиздат как массовая практика начался с копирования поэзии Анны Ахматовой и Бориса Пастернака, недоступной в книжном виде [8]. Более того, термин «самиздат» (который буквально означает самодельное издание или самопубликацию) стал популярным после того, как российский поэт Николай Глазков начал в середине 1940-х годов размещать слово «самсебяиздат» — то есть самопубликация собственной работы — на первой странице машинописных сборников своей стихотворений [9].

Однако копирование и распространение литературных произведений среди друзей оставалось основной функцией самиздата лишь до середины 1960-х годов, когда начали преобладать политические документы — письма, жалобы, комментарии, записи судебных процессов, памфлеты и т.д. [10]. Такие ключевые издания диссидентского движения, как «Политический дневник» или «Хроника текущих событий», практически полностью состояли из политически ориентированных документов [11].

Именно этот — политический — самиздат и будет предметом анализа моей статьи. Кроме общей попытки показать, что и «обычные» **политические** тексты имеют большое **культурное** значение, мой выбор также определен существенным отличием в символических стратегиях, которым следовали художественный и политический самиздат. Как указывали многие участники художественного самиздата, критика советского режима не была их первоочередной целью. Скорее, художественный самиздат являлся попыткой преодолеть стилистические ограничения соцреализма путем создания «тесного кружка единомышленников, которые говорят на своем, непонятном другим языке» [12]. Даже когда художественный самиздат старался вступить в диалог с господствующими стилистическими установками, эти попытки обнаруживали динамику, отличную от динамики диссидентского движения. Вспоминая свой опыт 1970-х, советский художник Илья Кабаков, например, писал:

«Возникло “одно обстоятельство”, оно представлялось ранее невероятным: оказалось возможным смотреть не туда, куда показывает указующий пропагандистский перст, а повернуть голову и посмотреть на сам этот перст; не идти под музыку, льющуюся из этого рупора, а смотреть и даже разглядывать сам этот рупор... Короче говоря, все эти грозные, не подлежащие разглядыванию предметы пропаганды, всегда сами неотрывно глядевшие на нас всех, сами почему-то оказались предметами разглядывания» [13].

В политическом самиздате такого встречного разглядывания грозных предметов пропаганды не возникало: ни указующий перст режима, ни источник пропагандистской музыки особому изучению не подвергались. Вместо этого тщательно имитировалось и воспроизводилось само авторитарное стремление направлять. Ниже я попытаюсь понять, как это миметическое отношение доминируемого к доминирующему, столь характерное для политического самиздата, превратилось в свою противоположность: мимесис стал эффективной формой сопротивления.

Наряду с общей ревизионистской тенденцией восприятия диссидентского движения сквозь призму диссидентской художественной продукции, существовал и еще один методологический подход, благодаря которому изначальный академический интерес к изучению инакомыслия в Советском Союзе быстро сошел на нет. Я имею в виду глубоко укоренившуюся традицию воспринимать диссидентское движение как продолжение непрекращающейся битвы, которая идет вот уже более двух столетий между российской интеллигенцией и российской властью [14]. В моем анализе диссидентского сопротивления я бы хотел воздержаться от возведения конкретного исторического события до уровня внеисторического архетипа. Вместо этого, используя материалы политического самиздата в качестве своего основного материала, я настаиваю на глубоко советском происхождении форм и риторики диссидентского сопротивления. Диссидентское публичное участие в значительной части было сформировано существующими публичными дискурсами по поводу советской законности и прав человека. Я покажу, что именно через использование уже существующих риторических приемов, сложившихся **внутри** доминирующей символической структуры государственного социализма, диссиденты могли занять определенную символическую и дискурсивную позицию в обществе, репрезентируя себя как политических субъектов. Иными словами, советские диссиденты были примечательны не только своим инакомыслием, но также крайне советскими формами выражения своего политического несогласия. И именно эта зависимость от режима, с которым они боролись, определила и силу, и слабость диссидентского движения в Советском Союзе.

Узники гласности

Одной из наиболее поразительных черт самиздата, собранного исследовательским отделом Радио Свобода / Радио Свободная Европа, является парадоксальное отношение между традиционным восприятием самиздата как подпольной деятельности и чрезвычайно публичной природой самих самиздатовских документов. Как бы странно это ни звучало, открытость была ключевой характеристикой советского инакомыслия. С самого начала движение за защиту прав человека в Советском Союзе было **публичным** движением, активно включенным в производство, воспроизводство и трансформацию того, что Пьер Бурдьё называл «легитимными» лингвистическими практиками, «практиками тех, кто господствует» [15].

Как отмечали сами диссиденты, советское движение в защиту прав человека началось с нарочитого публичного саморазоблачения. 5 декабря 1965 года — в день официального празднования двадцать девятой годовщины принятия советской Конституции — около двухсот человек собрались на «митинг гласности» на Пушкинской площади в центре Москвы. Один из их лозунгов отсылал к аресту писателей-самиздатчиков: «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!» Второй требовал: «Уважайте Советскую Конституцию!» [16]

Людмила Алексеева, свидетельница события, называет его «первой в истории советского режима демонстрацией, сопровождавшейся лозунгами в защиту прав человека» [17]. В некотором смысле эти два лозунга выражали логику «легального сопротивления» [18] диссидентов на протяжении всей его истории: настойчивое требование от власти открытых, публичных и гласных действий сочеталось с не менее требовательным призывом точно следовать законодательным нормам. Приведу в качестве еще одного примера стиль и риторику аргументов, представленных в другом, менее публичном событии. В 1966 году двадцать пять выдающихся советских интеллектуалов (включая физика Андрея Сахарова) написали письмо Леониду Брежневу, бывшему тогда Генеральным секретарем ЦК КПСС. Письмо широко циркулировало в самиздате, но ни разу не было опубликовано официальной прессой. Указывая на несколько недавних попыток реабилитации Сталина, письмо констатировало:

«Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина таит в себе опасность серьезных расхождений внутри советского общества. На Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных невинных людей, за нашу неподготовленность к войне, за отход от ленинских норм партийной и государственной жизни. Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит...

...Вопрос о реабилитации Сталина — не только внутривнутриполитический, но и международный вопрос. Какой-либо шаг в направлении к его реабилитации безусловно создал бы угрозу нового раскола в рядах мирового коммунистического движения, на этот раз между нами и коммунистами Запада. С их стороны такой шаг был бы расценен прежде всего как наша капитуляция перед китайцами... В дни, когда нам с одной стороны грозят активизирующиеся американские империалисты и западногерманские реваншисты, а с другой — руководители КПК, идти на риск разрыва или хотя бы осложнений с братскими партиями на Западе было бы предельно неразумно» [19].

Как и в случае демонстрации в поддержку Конституции, письмо, словно написанное в соответствии с буквой и духом официальной доктрины КПСС, было воспринято как манифестация политической нелояльности. Некоторым подписантам отказали в документах, необходимых для выезда за границу. Другим значительно ограничили каналы для публикации и/или демонстрации их работ в рамках официальной «культурной индустрии». Но письмо не привело к какому бы то ни было публичному обсуждению/осуждению. Советские власти не смогли найти оснований для того, чтобы классифицировать это письмо как антисоветское, антикоммунистическое или антиправительственное — возможно, именно потому, что дискурс диссидентов мало отличался от их собственного. Наказанию в данном случае не предшествовало преступления.

Почему риторика диссидентов, имеющая немало общего с официальным языком режима, вызвала негативную реакцию? Более того, почему сами диссиденты пошли на использование языка и форм аргументации, которые, если принимать их за чистую монету, не так уж и отличались от дискурса коммунистических властей?

В своем первопроходческом исследовании советских диссидентов Маршалл Шатц определяет диссидентов как «нео-интеллигенцию», которая повторила стратегии «старой интеллигенции» предыдущих двух веков, поставив под вопрос принципы существующего политического и социального порядка [20]. Однако при всем сходстве со стратегиями старой интеллигенции, риторика советских диссидентов не может быть помещена внутри этой традиции бесконечного противостояния российской интеллигенции и носителей власти. В отличие от практик сопротивления, которые реализовывались их предшественниками, так называемая нео-интеллигенция никогда не становилась на путь открытого и подчас жестокого противостояния с властями. Не предлагала она и альтернативного пути развития, как это делала старая интеллигенция. Риторика антирабовладельческого, прокатолического или просоциалистического инакомыслия таких харизматичных российских интеллектуалов XVIII и XIX веков, как Александр Радищев, Петр Чаадаев, Александр Герцен и Виссарион Белинский, коренилась в символическом поле, радикально отличающемся от символических оснований господствующего режима [21]. Сходным образом риторический успех большевиков и другой «революционной» интеллигенции в 1916–17 годах был в значительной степени определен их антинационалистской, антивоенной и, следовательно, антиправительственной фразеологией [22].

В отличие от своих предшественников, советские диссиденты 1960-х и 1970-х годов утверждали, что публичные действия их движения были легальны и полностью соответствовали требованиям существующих советских правовых и идеологических учреждений. Оспаривались не столько фундаментальные принципы существующего политического порядка, сколько их реализация. Вопрос о том, возможен ли социализм вообще, для большинства не стоял: социализм был слишком реален, чтобы сомневаться в его существовании. Главная проблема виделась несколько иначе. И заголовок влиятельной самиздатской статьи Юрия Орлова сформулировал ее как нельзя четко: «Возможен ли социализм нетоталитарного типа?» [23] Защищая свою приверженность идее и практике существующего закона, правозащитники снова и снова объясняли:

«Путь от полного произвола революции к правовому государству лежит через плохие, компромиссные, даже дискриминационные законы. Вам прежде всего нужно заставить вашего противника принять бой на выгодной вам правовой территории. В ситуации абсолютного произвола (если такой возможен) — все, что вы делаете, оборачивается против вас... Насилие плодит насилие, попытка обороняться произволом против произвола лишь увеличивает произвол» [24].

Такое понимание закона, законности и легитимного поведения составило ядро инакомыслия в Советском Союзе, радикально отделив советское правозащитное движение от других оппозиционных политических движений в Советском Союзе или России. Вместо того чтобы противопоставить свой дискурс официальному, вместо того чтобы дистанцироваться от властных источников этого дискурса, диссиденты выбрали стратегию идентификации с доминирующим символическим режимом — стратегию миметического воспроизводства уже существующих риторических приемов.

Работа генерал-майора Петра Григоренко хорошо иллюстрирует эту миметическую стратегию. В сентябре 1961 года пятидесятичетырехлетний Григоренко, заведующий кафедрой в Московской военной академии имени М.В. Фрунзе, выступил на районной

конференции Коммунистической партии с речью, в которой обвинил Хрущева в создании культа личности, мало отличающегося от культа Сталина. Чтобы избежать подобных повторов в будущем, Григоренко предложил понизить зарплаты высшим партийным и государственным чиновникам и ввести правило сменяемости власти [25]. Вскоре после этого Григоренко был освобожден от занимаемой должности и переведен в Дальневосточный военный округ, где, следуя своему критическому отношению к партийным порядкам, оказался вовлечен в движение за права человека, связанное с возвращением татар на полуостров Крым [26]. Из-за этой деятельности в феврале 1964 года Григоренко был уволен и заключен в психиатрическую больницу. В августе 1964 года он был разжалован в рядовые, его пособие было существенно урезано, а сам он был исключен из партии. В октябре 1964 года, после того как Хрущева отстранили от должности именно по тем причинам, на которые указывал Григоренко, бывший генерал-майор был освобожден. КГБ, тем не менее, продолжало следить за его публичной и частной жизнью. В 1968 году в письме к Юрию Андропову, тогдашнему главе КГБ, Григоренко писал:

«Ваши творцы последнего клеветнического документа пишут, что [группа, которую я создал] это была антисоветская группа, но они не рискуют сообщить ее название. Ну что ж, я сделаю это сам. Наша организация называлась “Союз борьбы за возрождение ленинизма” [27]. И ставили мы своей целью не ниспровержение советской власти, а устранение всех извращений ленинского учения, восстановления ленинских норм партийной жизни и возвращение реальной власти Советам депутатов трудящихся... Пусть осмелятся те, кто называет документы Союза антисоветчиной, опубликовать их. Если на любом открытом собрании трудящихся в моем присутствии хоть один из этих документов будет признан антисоветским, я готов признать себя шизофреником. Но ведь не осмелитесь опубликовать, господа хорошие» [28].

Как и в Письме двадцати пяти, аргументы Григоренко не выходили за границы принципов и идей официальной партийной доктрины. Точнее, они воспроизводили с особой точностью набор легитимных и публично признанных символических формул. Используя такие означающие, как «возрождение ленинизма», «восстановление ленинских норм» и «искажение ленинских идей», текст оставался внутри границ политически приемлемого и дискурсивно допустимого, одновременно подрывая монополию властей на артикуляцию, производство и воспроизведение господствующего дискурса.

Скрывая сопротивление

Один из способов интерпретации специфики самиздата — это обращение к концепции скрытых сценариев сопротивления, предложенное Джеймсом Скоттом в его книге «Господство и искусство сопротивления». В некотором смысле самиздат — эта публицистическая деятельность «из-под глыб» [29] — несомненно, несет в себе институциональное и даже метафорическое сходство с тем, что Скотт определяет как «голос под властью» (voice under domination) [30]. Действительно, некоторые исследователи советской и российской публичной культуры находят структуру, предложенную Скоттом, весьма привлекательной. Например, концепция лицемерия Олега Хархордина, которую он использует для описания публичного поведения советских людей, основана на теоретическом предположении, схожем с установками Скотта [31]. Несколько авторов в

специальном номере журнала «Критика», озаглавленном «Сопротивление власти в России и Советском Союзе», используют ту же теоретическую схему [32].

Мне, однако, кажется, что формы советского инакомыслия демонстрируют ограниченность общей теории сопротивления, которую пытаются развить Скотт и его последователи. Несмотря на их попытки видеть в «скрытых сценариях» сопротивления «технологии и практики сопротивления, аналогичные анализу технологии власти Мишеля Фуко» [33], теоретические обобщения этих авторов строятся на определенной подмене идей Фуко о власти/знании и дискурсе.

В своем эссе «Политика и исследование дискурса» Фуко подчеркивает важность понимания того, что «дискурсирующие субъекты формируют часть дискурсивного поля — у них есть свое место внутри этого поля (и свои возможности смещений) и своя функция (и свои возможности функциональных мутаций). Дискурс — это не место, в которое субъективность привносится извне, это пространство различаемых субъектных позиций и субъектных функций» [34]. Отмечу, по меньшей мере, два важных момента в этой цитате. Во-первых, Фуко предлагает видеть субъективность не как нечто, находящееся вне дискурсивного поля, но как неотъемлемую часть этого поля — как дискурсивный эффект. Во-вторых, для Фуко становление субъекта, способного к дискурсу («дискурсирующий субъект») предполагает определенную субъектную позицию (доминирующего или доминируемого) и определенную субъектную функцию (производство или воспроизводство/тиражирование дискурса) в **рамках** этого дискурсивного поля. Эти два вывода Фуко позволят мне рассматривать диссидентское сопротивление с учетом его исторической и риторической специфики.

На первый взгляд, самиздат — как «средство подпольной коммуникации» [35] — действительно появился как оппозиция советской цензуре и действовал как печатная версия «скрытых сценариев», выработанных, как это и описывает Скотт, в том закулисном царстве «относительной дискурсивной свободы», где «сопротивление могло бы получить необходимые ему силы и смысл» [36]. И все же, мне бы хотелось отметить, что исторически мы не можем говорить о наличии «стены», которая отделяла диссидентское «выступление на сцене» от их «закулисной» деятельности [37]. Не существовало «расщепления» (как это назвал бы Хархордин), которое могло бы четко развести «публичные» и «скрытые» сценарии [38]. «Занавес», который отделял самиздатские тексты от официально опубликованных, был далеко не железным. Советский поэт Виктор Кривулин не так давно отметил, что в Москве «не было жесткого водораздела между официальным и неофициальным литературными мирами... культурное пространство в столице не двоилось, но существовало множество стадий плавного перехода от подполья к официальному признанию» [39]. Более того, в самиздате нередко печатались тексты, **после того** как они оказались объектом повышенного общественного внимания, демонстрируя тем самым траекторию развития самиздата, несколько отличающуюся от ожидаемой. Например, до того, как повесть Солженицына 1963 года «Один день Ивана Денисовича» была запрещена в 1974 году, она была опубликована ведущим советским литературным журналом и была выдвинута на соискание Ленинской премии 1964 года в области литературы и искусства [40]. К 1966 году почти миллион экземпляров повести разошелся по СССР [41].

Этот же принцип остается верным и в отношении писем: в подавляющем большинстве случаев письма, опубликованные в самиздате, были теми же письмами, которые диссиденты

отсылали лидерам правительства и партии. Так, выбранный наугад том самиздата, собранного Радио Свобода/Радио Свободная Европа, содержит семьдесят шесть документов. Сорок шесть из них (61 процент) — это публичные письма и воззвания; оставшиеся тридцать (39 процентов) — это различные комментарии, репортажи и протоколы [42].

Как показывают эти примеры, дихотомия между публичным и скрытым, которая столь популярна в современных исследованиях сопротивления, по меньшей мере, проблематична, не говоря уж об ограниченности сферы ее применимости. Тексты самиздата не были ни одномерно публичными, ни одномерно скрытыми. Сопротивление диссидентов выражало себя, скорее, в усилении господствующего дискурса, чем в его инверсии.

Это миметическое сопротивление, представленное движением советских диссидентов, в определенной степени напоминает теологические герменевтические дебаты, описанные Гансом Георгом Гадамером. Публично доступный текст (в данном случае Библия) воспринимается как содержащий достаточное количество возможностей для того, чтобы и господствующие, и подчиненные могли воспринимать его как свой собственный [43]. В самиздате можно видеть и пример «гибридной конструкции» Михаила Бахтина, т.е. «смешение двух **индивидуализированных** языковых сознаний... а также двух индивидуальных языковых намерений: индивид, представляющий авторские сознание и волю, с одной стороны, и индивидуализированное лингвистическое сознание и воля представленного характера — с другой» [44]. Именно это смешение намерений, порожденное двойственным процессом, в котором дискурсирующий субъект вызван к жизни авторитарным дискурсом, но локализован в месте, отличном от позиции властей, в итоге и производит на свет диссидентскую «реплику» господствующего дискурса, реплику, которая «наводит ужас на власть **подобием** ее признания, ее мимикрией, ее симуляцией (mockery)» [45]. Независимо от того, насколько (бес)сознательной и (не)преднамеренной эта симуляция была.

В своем детальном анализе Эзопова языка в российской/советской литературе Лев Лосев, советский эмигрант и литературовед, утверждал, что эта мимикрия в значительной степени является структурным эффектом «огромной диспропорции» между **многообразием** кодов, использованных в тексте, и **однообразием** его содержания [46]. На мой взгляд, ужасающая мимикрия самиздата, его шокирующая (речевая) способность воспроизвести господствующий дискурс, при этом не совпадая с ним, имеет сходную структурную природу, хотя и несколько иные очертания. Огромная диспропорция между содержательной однородностью самиздата и его политическим посылом была вызвана очевидным структурным несоответствием между (подчиненным) социальным положением диссидентов и типом (властного) дискурса, который они взяли взаймы и которым они постарались овладеть. Иными словами, ужасающий эффект стал итогом несоразмерности **локуса** высказывания (субъектной позицией) и произнесенным **текстом**. Авторы самиздата смогли преуспеть в своей миметической критике во многом благодаря инверсии географических установок господствующего дискурсивного жанра. Именно при помощи удвоения места зарождения господствующего дискурса — именно за счет **смещения** его первоисточника — диссиденты могли производить дестабилизирующий политический эффект.

Сближение публичного и скрытого в рамках миметического сопротивления самиздата проясняет, почему в процитированных мной письмах цель диссидентской борьбы была далека от защиты границ скрытого, частного пространства, не оскверненного властью. Не

сводилась она и к контролю над «границей **между** публичными и скрытыми сценариями», которая должна была бы стать, как предлагает Скотт, «зоной постоянной борьбы между властвующими и подвластными» [47]. Вместо этого подчиненные диссиденты сфокусировались на домене доминантного в попытке принять участие не только в процессе тиражирования господствующего дискурса, но также и в процессе его производства. Проблема состояла в устранении разрыва между местом высказывания и типом высказывания, между позицией субъекта и его функцией. В оставшейся части этого эссе я попытаюсь показать, что попытка диссидентов воспринимать господствующий дискурс не только как механизм **внешнего** воздействия на них, но и как институт **активации** и **формирования** их субъектности определил — в той же мере, в какой и ограничил — их роль в советском обществе [48].

Заключая диссидента в себе

В марте 1977 года, незадолго до открытия в Белграде Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, семеро узников написали открытое письмо тогдашнему президенту США Джимми Картеру [49]. Подчеркнув, что советское руководство никогда не вступит в диалог с оппозицией, узники заявили:

«Мы требуем от сов. руководства пересмотреть приговоры томящихся в сов. тюрьмах заключенных, осужденных по политическим мотивам. И в качестве естественного следствия такого пересмотра... мы требуем полной политической амнистии. Предвидя игнорирование и нежелание решать эти вопросы сов. руководством, мы требуем введения в Сов. Союзе “статуса политических заключенных”, который бы предусматривал содержание их, значительно отличающееся от уголовных преступников...

...Решительно отстаивая свои права, мы посвящаем началу подготовительных встреч в Белграде свою давно намеченную акцию — переход явочным порядком на режим “статуса полит. заключенных в СССР”... [50] Переходя на режим “статуса п/зак. в СССР”, мы сознательно прибегаем к новой форме борьбы против варварства, которое узаконено в советских концлагерях...

...Мы протестуем против применения к полит. заключенным в СССР одного и того же законодательства, что и к уголовникам (бандитам, ворам, убийцам)» [51].

В этом письме несколько важных проблем. Например, как может быть понято и интерпретировано требование узников к советскому руководству предоставить им легитимную политическую идентичность и специфический политический статус? Какого рода механизм политики идентичности используют здесь диссиденты? В чем состоит структурная и дискурсивная значимость подтверждения их субъектной позиции со стороны властей?

Как я показал ранее, анализ происхождения и логики самиздатского сопротивления в Советском Союзе требует специфического понимания сути власти — как системы отношений, которая ограничивает и — одновременно — производит субъекта. Этот вывод остается верным и в отношении цензуры, которая задает систему ограничений и в то же

самое время делает возможной формы речи. В одном из своих текстов Фуко предложил анализировать ГУЛАГ [52] как «экономико-политический оператор в социалистическом государстве» [53]. Я утверждаю, что феномен социалистической законности, вокруг которого правозащитники выстраивали свою политическую идентичность и свои политические стратегии, можно рассматривать как политико-экономический оператор сходного типа. Этот оператор одновременно подчиняет диссидентов определенной дискурсивной логике (власти закона), наделяя их знанием режима и позицией по отношению к этому режиму. С этой точки зрения, диссидентское движение отлично иллюстрирует заключение Фуко о том, что «не существует отношений власти без сопротивлений; сопротивления оказываются более действительны и действенны именно потому, что они образуются там, где осуществляются отношения власти; так что, чтобы стать действительным, сопротивлению власти не нужно приходить извне... Оно становится лишь сильнее, локализуя себя в месте власти» [54]. Будучи понятыми таким образом, формы диссидентского сопротивления — будь то призыв заключенных подтвердить их политический статус или попытка советских интеллектуалов давать Коммунистической партии советы о том, как избежать разрыва с западными коммунистами, — выглядят абсолютно логичными. Только локализуя себя в уже существующем дискурсивном поле, только принимая на себя сложившиеся дискурсивные условия, можно рассчитывать на то, чтобы стать участником дискурсивных обменов.

Существует, однако, определенная разница между тем, чтобы **принимать** правила и **быть сформированным** правилами. Некоторые исследователи упускают суть, видя ошибку диссидентов в их неспособности создать альтернативный дискурс [55]. Зависимость диссидентского дискурса от режима отражает фундаментальный факт онтологической — то есть дискурсивной — близости диссидентов режиму, которому они решили подражать (даже в 1977 году Григоренко настаивал на том, чтобы считать обязательным начало «плодотворного диалога» между советскими властями и диссидентами [56]). Настойчиво стремясь заставить режим воспринимать себя в виде легитимных противников и оппонентов, диссиденты оказались в «плену... субъектных позиций», которые они так стремились защитить [57]. Требуя от правительства уважения к собственной Конституции и указывая на нарушения закона властями, диссиденты использовали легалистский дискурс с удивительно парализующими результатами. С одной стороны, они добились определенной защиты от произвола советского государства. Как это сформулировал Буковский: «Мы были нормой, они были нарушителями нормы» [58]. В то же самое время эта конституирующая зависимость нормы от возможности ее нарушения превратила советских «нарушителей нормы» в основание этого политического режима. В результате, дискурсивная зависимость диссидентов от режима помешала им стать реформаторами режима. Попытки привнести иной дискурс — то есть, по сути, возможность дистанцироваться от господствующего символического порядка — были бы равносильны попыткам поместить себя вне той системы, на которую диссиденты так хотели повлиять.

Как я уже отмечал, одна из проблем с публичным/скрытым противопоставлением господствующих и подчиненных заключается в определенной редукции спектра возможных стратегий сопротивления к «индивидуальному совершенствованию механизма постоянного переключения между частным и официальным» [59]. Для этого подхода характерна и еще одна форма редукции, сводящая возможности социального движения к челночным колебаниям «между двумя мирами — миром начальства и закулисным миром подчиненных» [60]. Идея миметического сопротивления позволяет уйти от такого географически

расчлененного восприятия процесса дискурсивного конструирования господствующих и подчиненных. Фукодианское понимание власти/сопротивления позволяет мне говорить о господствующих и подчиненных как принадлежащих к одному и тому же дискурсивному полю, как относящихся друг к другу скорее внутридискурсивно, чем междискурсивно [61]. Занимая разные субъектные позиции, господствующие и подчиненные обращаются к одному и тому же словарю символических средств и риторических приемов. И ни господствующие, ни подчиненные не могут поместить себя «вне» этого словаря. Как отмечал Фуко, «здесь нет обочины, на которую могли бы сойти те, кто хочет порвать с системой» [62].

Идея миметического сопротивления помогает избежать и еще одной проблемы, обычно демонстрируемой «челночной» (на сцене / за сценой) теорией господства и подчинения. Настаивая на возможности привнесения нового, альтернативного дискурса, эти двухмерные теории манифестируют молчаливое допущение того, что существует «источник» власти, который может быть изолирован и изъят из круговорота властных отношений и/или дискурсивных обменов. Эти теории предполагают наличие других, неизвестных мета- и/или экстра-дискурсивных сил, вовлеченных в процесс субъективации. Другими словами, они предполагают возможность занятия субъектной позиции, автономной от **символического порядка** — понятого одновременно и как сфера «произносимого» [63] (т.е. как символическое), и как иерархия доступных дискурсов (т.е. как порядок).

История диссидентского движения показывает, что ни одна из этих сил так себя и не проявила; ни одна субъектная позиция вне существующего дискурсивного поля не оказалась им доступной. Внутри сложившегося «режима истины» [64] диссидентский дискурс, который миметически воспроизводил (впрочем, не без Эзоповых уверток) господствующий дискурс, был, пожалуй, единственным, который мог быть принят в этом обществе как истинный. Речь, однако, не идет о том, что дискурс законности и гласности конституировал диссидентов целиком и полностью. Различные биографии диссидентов и власть имущих отражались в различных субъектных позициях, которые они занимали, и субъектных функциях, которые они представляли внутри символического поля [65]. «Авторитарное слово, — пишет Бахтин, — требует от нас безусловного признания, а вовсе не свободного овладения и ассимиляции со своим собственным словом. Поэтому оно не допускает никакой игры с обрамляющим его контекстом, игры с его границами, никаких постепенных и зыбких переходов, свободно-творческих стилизующих вариаций». Возможность подрыва кроется именно в динамичной гибридной речи подчиненного [66].

Причин, по которым дискурс прав человека и законности стал господствующим режимом истины в послесталинском Советском Союзе, можно назвать много. Одной из них может быть определенный дискурсивный разрыв, обычно ассоциируемый с хрущевским докладом 1956 года о культе личности Сталина, который начал медленное возвращение к риторике «норм» и «закона». Не без иронии истории, эта же идея необходимости публичного (то есть гласного) соответствия закону была официально использована и для того, чтобы освободить Хрущева от его должности: во время правления Брежнева эра Хрущева типично обозначалась как «период волюнтаризма и субъективизма». Даже перестройка отдала дань этой риторике, провозгласив в качестве своей цели установление «власти закона» в стране.

Сложно сказать, стало ли принятие диссидентами идеи законности манифестацией этой длительной модификации «границы и формы произносимого» [67] или это был спонтанный

ответ на специфическую историческую ситуацию 1960–1970-х годов. В любом случае ясно то, что благодаря идентификации с дискурсом права и законности правозащитники смогли закрепить за собой сильную политическую позицию, заставив режим обратить на себя внимание. В то же время различие функций, осуществляемых диссидентами и режимом внутри одного и того же дискурсивного поля, значительно повлияло на стиль аргументации правозащитников. Не имея возможности **инициировать** господствующий режим истины, диссиденты могли только **интенсифицировать** его воспроизводство. Прочитую лишь один документ самиздата, который хорошо показывает, как диссиденты формулировали это различие в отношении к господствующему типу аргументации.

В октябре 1969 года Лариса Богораз, журналист и активист-правозащитник, послала письмо Председателю Верховного Совета СССР со своими комментариями к закону, озаглавленному «Основы исправительно-трудового законодательства». После обширного комментария к закону Богораз заключала:

«Помимо того что сам принятый вами закон... неразумно жесток, он ужесточается существующей практикой. Так вот, о практике — в дурных ли исполнителях дело? Или в самом законе?»

Я думаю, дело в самом законе, в тех гарантиях, которые обеспечивают его исполнение. Ведь и во времена сталинских концлагерей и застенков на фасаде закона чеканились слова о великой справедливости — это не мешало морить заключенных голодом, пытать, убивать...

Итак, пусть жестокий закон, но закон; пусть права человека урезаны до минимума, но где гарантии соблюдения этого минимума?.. Заключенный отдан “на милость” администрации» [68].

Стиль этого письма определенно напоминает процитированное ранее письмо политических заключенных 1977 года. Риторически оба этих документа одинаково требуют властно санкционированной точки отсчета, которая могла бы быть использована как модель негативной (жестокий закон) или позитивной (статус политического заключенного) идентификации. Оба текста символизируют поиск определенной субъектной позиции, которая позволила бы им в социально приемлемой форме артикулировать свое несогласие с тем самым режимом, который конституировал их субъектность. В заключительном разделе я покажу, как этот поиск субъектной позиции постепенно сместился к иному — ориентированному на Запад — дискурсивному полю.

Меня символические рынки

Как отмечают некоторые историки, к середине 1970-х годов советские диссиденты оказались в ситуации кризиса и отчаяния. Проводя аресты и игнорируя протесты диссидентов, режим смог практически полностью обезоружить их. Эта ситуация отчаяния была усилена растущей политической иммиграцией и высылками, которые, по словам Роя Медведева, стали «основной формой борьбы с диссидентским движением» [69]. Иосиф Бродский был принужден эмигрировать в 1972 году, Александр Солженицын был выслан в 1974-м, Буковский — депортирован в 1977 году. Архив самиздата этого периода полон документов,

подобных «Открытому письму советскому правительству», написанному Еленой Андроновой в 1977-м:

«...Я отлично понимаю, что мое заявление ничего с мертвой точки не сдвинет, ничего не изменит и не принесет никаких практических результатов, но я все же считаю своим долгом перед собой и людьми не молчать и не лгать. Я ни к чему вас не призываю — я знаю: вы глухи. И мне ли докричаться до вас сквозь ваши ушные затычки неписанных правил, негласных законов и лозунгов, давно уже ничего не значащих!» [70]

Может быть, именно эта утрата надежды изменить что бы то ни было внутри страны, вместе с потоком эмиграции, в итоге изменили риторическую стратегию и ориентацию диссидентов. Эти изменения стали особенно ясны во время «общественного» обсуждения проекта новой советской Конституции.

В 1977 году, опубликовав проект Конституции, которая должна была ознаменовать превращение «государства рабочих и крестьян» в «общенародное государство», советское правительство начало срежиссированную кампанию по «общественному одобрению» текста. Диссиденты приняли активное участие в этой кампании. Однако тон их писем и суть их предложений отличались от риторики предыдущего периода. Так, например, двенадцать правозащитников написали коллективное письмо членам Политбюро:

«Так, в ст. 2 утверждается: “Вся власть в СССР принадлежит народу”. А в ст. 6 говорится: “**Руководящей** и направляющей силой советского общества, **ядром** его политической системы... является Коммунистическая партия Советского Союза” Она “**определяет** генеральную перспективу развития общества, линию **внутренней** и **внешней** политики СССР, **руководит** великой созидательной деятельностью советского народа...” ...Что же остается после этого от власти народа?

Статья 6-я фиксирует реальное, существующее в стране положение: власть принадлежит не народу и не его выборным органам, а партии, точнее — Политбюро ЦК КПСС. А статья 2-я провозглашается для косметики, для агитации, для рекламы» [71].

Продолжая эту мысль, диссиденты требовали, чтобы Конституция говорила правду и прямо отражала «верховную власть Политбюро ЦК КПСС» без всякой попытки прикрыть «партократический» характер власти ссылкой на «власть народа». Как заключали правозащитники, «в мире есть монархии, единоличные диктатуры, теократические государства — почему бы не быть государству, верховной властью которого является группа партийных лидеров? Не надо только называть это демократией».

Письмо содержит почти все типичные черты риторики диссидентов: их призыв к принципам гласности (через ссылки на «ясность» и «правду»), их вера в закон как источник идентичности и легального статуса (режим «партократии» должен быть зафиксирован в Конституции), так же, как и их удивительная способность вмести себя в пределы произносимого, установленные режимом, который они подвергали критике. В то же время письмо отражает постепенный отход от обычных попыток диссидентов заставить власть символически признать существующие расхождения между ее официально принятой позицией и

политикой, проводимой на практике. Не имея возможности вовлечь власти в диалог и принудить их к ответу, диссиденты попытались канализировать направление властного монолога, заставляя режим принять (или признать, что он принял) определенную позицию высказывания. С этой точки зрения требование ввести статус политического заключенного и комментарии к Конституции отмечают две разных стадии в диссидентском движении. Риторика первой стадии состояла в попытке заставить режим проговорить некие законные границы, легальные рамки, правовые параметры общественной деятельности. Во время второй стадии диссиденты пытались заставить режим совершить **акт публичной самоидентификации**. Эти две стадии обозначили трансформацию, которая принципиально укоренена в миметическом сопротивлении подчиненных: от стадии, на которой они сформированы режимом, к стадии, на которой они становятся соперником режима. Или, чуть иначе: от позиции классифицированных в качестве субъекта к позиции классифицирующего субъекта.

Вместе с этой риторической стратегией, нацеленной на внедрение новой «политической системы классификации» [72], в середине 1970-х диссиденты начали использовать международные средства массовой информации для наращивания давления на советское правительство. Это привело к разительной смене формата открытых писем. Заголовок «Общественности западных стран» пришёл на смену традиционному обращению к «Лидерам Партии и правительства» [73]. Смена главного адресата повлияла и на содержание писем. Риторика «гласности и социалистической законности» была заменена тропом универсальной угрозы. Так, в 1975 году, обращаясь к «западному обществу», три диссидента писали:

«Мы хотим предупредить общественность стран Запада, что репрессии против гуманитарных движений, планомерно осуществляемые советскими властями в последнее время... являются шагами в сторону скрытой конфронтации с Западом, укреплением тыла такой конфронтации... Мы призываем вас попытаться понять то, от чего вам, возможно, хотелось бы отмахнуться: что жестокая борьба за установление абсолютного идеологического единства в СССР имеет прямое отношение к вашему будущему» [74].

Вот еще одно риторически сходное заявление, которое было зачитано во время пресс-конференции Русского общественного фонда помощи политзаключенным СССР в 1977 году. Дискурс **социалистической** законности здесь заменен дискурсом **фиктивной** законности. Авторы документа подчеркивали: «Мир должен понимать, что если в руках бесправного общества, живущего по мнимым законам, общества с режимом без стыда и совести сосредоточена военная сила, это общество всегда таит в себе угрозу всему миру... С государством, базирующемся на неписанных и незаконно писанных законах, никогда не будут достигнуты ни безопасность, ни сотрудничество» [75]. Как следует из текста, смена адресата немедленно привела к смене дискурсивных установок. Новый — западный — дискурсивный режим активировал и дискурсивно оформил форму субъективности, необходимую для признания этим режимом. Мария Розанова, редактор основанного в Париже диссидентского журнала «Синтаксис», вспоминала, как в определенный момент своего диссидентского прошлого она пришла к осознанию того, что «сразу за спинами московских борцов за права человека стояли зарубежные корреспонденты, ожидая новых подвигов; это приятно возбуждало» [76].

В недавней литературе, посвященной постсоциалистическим исследованиям, уже делались попытки интерпретировать диссидентское движение как форму накопления морального капитала [77]. Как я пытался показать, в случае советских диссидентов «стартовый капитал» для этого накопления часто заимствовался из дискурсивного хранилища правящего режима. Повлияло ли это странное, взятое взаймы происхождение морального капитала на процесс циркуляции самого капитала? Можно ли было разглядеть в нем опасность грядущей «девальвации»?

Как пишет Бурдые, понимание силы дискурса тесно связано с пониманием «механизмов, производящих одновременно и слова, и людей, которые произносят и воспринимают их» [78]. Иначе говоря, символическая дееспособность — это эффект соотношения между позицией субъекта в поле символической власти и позицией субъекта в политическом или экономическом поле. И это положение подводит меня к ключевому вопросу моего анализа: что происходит — политически и социологически, когда отношения гомологической зависимости между механизмами, производящими слова, и механизмами, производящими людей, отсутствуют? То есть когда человек миметически озвучивает дискурс, для которого у него нет полномочий? «Эффект символического господства, — справедливо отмечает Бурдые, — зависит от желания человека признать его» [79], и потому логично ожидать, что в условиях существенной диспропорции между локусом высказывания и самим высказыванием символическое признание будет стремиться к нулю. Или, иными словами, конституирование субъекта господствующим дискурсом не предполагает его автоматического признания теми, кто господствует. Более того, миметическое сходство с господствующими ни гомогенным, ни гомологическим, как правило, не является. Как показывают неудачные попытки советских правозащитников заставить советских чиновников вступить с ними в диалог, способность говорить на языке властей еще не означает способность говорить властно.

И все же неудача диссидентского миметического сопротивления советскому режиму не была безрезультатной: субъектная позиция диссидентов — их положение дискурсирующих субъектов — получила свое признание. Чего диссиденты не смогли получить от режима — это признания той функции субъекта, которой они так добивались, а именно функции авторов легитимного дискурса. Постепенно этот разрыв между «опытом и выражением» [80] привел к медленному, но стабильному смещению диссидентов к другому берегу и другому (западному) символическому рынку, — туда, где им не нужно было символически состязаться с господствующим дискурсом советских властей, туда, где им не было отказано в праве на свою форму символического капитала. Попытка диссидентов использовать западную риторику «красной угрозы» не была беспроблемной. Однако ее следует рассматривать не как акт конкуренции с аналогичным западным дискурсом, но, скорее, как попытку найти иную точку входа в область произносимого в Советском Союзе.

Финальный акт этой пьесы, однако, увенчался неожиданным успехом: способность советских диссидентов действовать в качестве основных производителей легитимного дискурса была признана. Но это признание стоило недешево. В 1987 году Людмила Алексеева отмечала, что речи Горбачева звучали чрезвычайно знакомо, как будто она уже читала что-то похожее «в самиздате 10-ти, 20-ти, 30-тилетней давности» [81]. В 1996 году Синявский лишь отчасти шутил, когда писал, что «Горбачев просто прочитал свою долю самиздата и исполнил мечту советских диссидентов, став первым диссидентом в своем собственном Политбюро» [82]. Дискурсивное течение риторики гласности прошло полный круг. Режим Горбачева —

непоследовательно и осторожно — присвоил себе язык диссидентов, в первую очередь его открытость и публичность. Но превращение членов политбюро в диссидентов — это не совсем то же самое, что политбюро, состоящее из диссидентов. Присваивая себе язык диссидентов (мимикрируя под него?), режим избегал публичного признания авторства своего дискурса. Взяв напрокат риторику гласности у правозащитников, режим перестройки одновременно проигнорировал диссидентов как политических субъектов и истощил подрывной компонент их миметического сопротивления. В свою очередь, и сами диссиденты, прочно связавшие свою идентичность с позицией подчиненных, так и не смогли трансформировать свое инакомыслие в парламентскую оппозицию или институционализированную партийную систему. Их миметическое сопротивление оставалось эффективным до тех пор, пока мимесис воспринимался режимом как подрыв его монополии на производство легитимного дискурса. «Как только определенный уровень свободы в стране был достигнут, — отмечал Ковалев, — феномен диссидентства был окончен» [83]. Многоголосие перестройки уничтожило предшествовавшую дискурсивную монополию режима и сделало мимесис — и его исполнителей — излишним.

Источник: Oushakine S.A. The Terrifying Mimicry of Samizdat // Public Culture. 2001. Vol. 13 (2). P. 191–214.

Примечания

- ↑1. В этом эссе я использую две коллекции текстов самиздата. Собрание документов самиздата (СДС) содержит материалы с середины 1960-х до мая 1973 года. Архив самиздата — Материалы самиздата (АСМС) — содержит материалы от 1973 года до перестройки. Обе коллекции были собраны исследовательским отделом основанного в Соединенных Штатах Радио Свобода / Радио Свободная Европа (расположено в Мюнхене) с 1971 года до ранних 1990-х. Сейчас они хранятся в архивах Открытого общества в Будапеште (<http://www.osa.ceu.hu>) и также доступны в изданных переснятых коллекциях в Колумбийском университете и в Университете Пенсильвании. Документы в обеих коллекциях имеют присвоенный номер (АС № ...). Поскольку документы воспроизведены в основном, но не всегда, в хронологическом порядке, цитируя документ, я буду указывать его номер в архиве и дату его действительной публикации. Материалы СДС разделены на тома, на которых не обозначена дата, когда они были переплетены или пересняты. Документы из АСМС воспроизведены как серия выпусков с датами публикаций. Полный список документов, собранных Радио Свобода / Радио Свободная Европа до 1977 года, см.: Полный список документов: Архив самиздата. Под ред. А. Бойтера (Munich: Samizdat Archive Association, 1977). Все переводы самиздатских материалов выполнены мной. *Примечание переводчика:* при переводе статьи на русский язык сверка цитат из документов самиздата производилась по переснятым коллекциям документов фонда Радио Свобода / Радио Свободная Европа. Архивные материалы, а также книги и журналы были предоставлены архивом и библиотекой Международного Мемориала.
- ↑2. Речь Н.С. Хрущева о культе Сталина, прочитанная 25 февр. 1956 года на закрытом заседании Двадцатого съезда Советской коммунистической партии // *Khrushchev Speaks: Selected Speeches, Articles, and Press Conferences, 1949–1961* / Ed. T.P. Whitney. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1963.
- ↑3. *Alexeyeva L. and Goldberg P. The Thaw Generation: Coming of Age in the Post-Stalin Era.* Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1993. Дискуссию об истории термина «оттепель», введенного советским писателем Ильей Эренбургом и сейчас являющегося общим выражением, см.: *Laychuk J.L. Ilya Ehrenburg: An Idealist in an Age of Realism.* Bern: Peter Lang, 1991. P. 258–271.

- ↑4. Александр Солженицын. Открытое письмо секретариату Союза писателей РСФСР // Собрание документов самиздата (далее СДС). Vol. 4. АС по. 277 (1969).
- ↑5. Буковский В. И возвращается ветер. М.: Новое издательство, 2007. С. 226. Книга также опубликована в несколько иной форме: *Bukovsky V. To Build a Castle: My Life as a Dissenter /* Transl. M. Scammell. N.Y.: Viking Press, 1979.
- ↑6. *Lahusen T. Editor's Introduction // Late Soviet Culture: From Perestroika to Novostroika /* Ed. T. Lahusen and G. Kuperman. Durham, N.C.: Duke University Press, 1993. P. 2. В недавнем собрании эссе, посвященных постсоветской России, Адель Баркер предложила сместить исследование российской культуры с анализа элитистского диссидентского движения, обычно помещаемого западными советологами на «внешней границе официальной советской культуры», к исследованию «широкой области» популярной или массовой культуры, находящейся между партией и диссидентствующими интеллектуалами. *Barker. The Culture Factory: Theorizing the Popular in the Old and New Russia // Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev /* Ed. A. Barker. Durham, N.C.: Duke University Press, 1999. P. 20, 23. Схожую тенденцию см.: E.E. Berry and A. Miller-Pogacar (eds.). *Re-entering the Sign: Articulating New Russian Culture.* Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995; N. Condee (ed.). *Soviet Hieroglyphics: Visual Culture in Late-Twentieth-Century Russia.* Bloomington: Indiana University Press, 1995.
- ↑7. Василий Аксенов, Лариса Богораз, Леонид Бородин, Юлия Вишневецкая, Игорь Голомшток, Сергей Ковалев, Рой Медведев, Григорий Померанц, Марина Розанова (Синявская), Феликс Светов и Лев Тимофеев. Диссиденты о диссидентстве // Знамя. 1998. № 9. С. 179.
- ↑8. Абрам Терц [Андрей Синявский]. Искусство и действительность // Синтаксис. 1978. № 2. С. 113.
- ↑9. Горбаневская Н. Вступительная заметка // Континент. № 52. 1987. С. 253.
- ↑10. Буковский. И возвращается ветер... С. 273. Также см.: V. P. [псевд.] Новый самиздат // Континент. № 52. 1987. С. 256. (Использование инициалов вместо настоящих имен было распространенной практикой среди авторов, особенно тех, кто оставался в Советском Союзе, публикуясь за рубежом.)
- ↑11. *Medvedev R. An End to Silence: Uncensored Opinion in the Soviet Union: From Roy Medvedev's Underground Magazine // Political Diary, ed. S. Cohen, transl. G. Saunders. N.Y.: W.W. Norton, 1982; M. Hopkins (ed.). Russia's Underground Press: The Chronicle of Current Events. N.Y.: Praeger, 1983.*
- ↑12. *Кривулин В. Золотой век самиздата // Самиздат века /* Ред. А. Стрелянный, Г. Сапфир, В. Бахтин и Н. Ордынский. Минск: Полифакт, 1997. С. 346.
- ↑13. *Кабakov И. 60-е — 70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 102.*
- ↑14. См., напр.: *Савельев А. Политическое своеобразие диссидентского движения в СССР 1950-х — 1970-х годов // Вопросы истории. 1998. № 4. С. 109–119.*
- ↑15. *Bourdieu P. Language and Symbolic Power /* Ed. J.B. Thompson, transl. G. Raymond and M. Adamson. Cambridge: Harvard University Press, 1991. P. 53.
- ↑16. *Alexeyeva L. Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious, and Human Rights /* Transl. C. Pearce and J. Glad. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1985. P. 276.
- ↑17. *Alexeyeva. Soviet Dissent. P. 274.*
- ↑18. Шрагин Б. Сила диссидентов // Синтаксис. 1979. № 3. С. 27.
- ↑19. Письмо 25-ти деятелей культуры Брежневу о тенденции реабилитации Сталина // СДС. Vol. 4. АС по. 273 (1966). (Это письмо подписано двадцатью пятью авторами, и к нему обычно отсылаются как к «Письму двадцати пяти».)
- ↑20. *Shatz M. Soviet Dissidents in Historical Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. P. 140.*
- ↑21. Более подробно о дискуссии об отношениях между российской интеллигенцией и российскими властями, см., напр.: *Иванов-Разумник И. История русской общественной мысли. Т. 1. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1914.*
- ↑22. См.: *Acton E. Revolutionaries and Dissidents: The Role of the Russian Intellectual in the Downfall of Tsarism and Communism // Intellectuals in Politics: From the Dreyfus Affair to Salman Rushdie /* Ed. J. Jennings and A. Kemp-Welch. L.: Routledge, 1997. P. 158–159.

- ↑23. Орлов Ю. Возможен ли социализм нетоталитарного типа? // Самиздат века / Ред. Стрелянный, Сапгир, Бахтин и Ордынский. С. 321–332.
- ↑24. Буковский В. Почему русские ссорятся? // Континент. № 23. 1986. С. 196.
- ↑25. Григоренко П. Сборник статей. N.Y.: Khronika, 1977. С. 17.
- ↑26. В 1940-х крымские татары были насильно перевезены в Узбекистан в связи с приписываемым им сотрудничеством с нацистами.
- ↑27. Имя союза — это отсылка к первому марксистскому кружку, основанному в России в конце XIX века, — Союз борьбы за освобождение рабочего класса.
- ↑28. Петр Григоренко. Открытое письмо Ю.М. Андропову // СДС. Vol. 8. AC no. 580. P. 9 (1969) (выделение в оригинале).
- ↑29. Alexander Solzhenitsyn, Mikhail Agursku, A. B., Evgeny Barabanov, Vadim Borisov, F. Korsakov, and Igor Shafarevich. From under the Rubble // Trans. A.M. Brock, M. Haigh, M. Sapiets, H. Sternberg, and H. Willetts under the direction of M. Scammell. Boston: Little, Brown, 1975.
- ↑30. Scott J. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1990. P. 137.
- ↑31. Khabkordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley: University of California Press, 1999. P. 271–272.
- ↑32. Resistance to Authority in Russia and the Soviet Union // Special issue of Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. No. 1 (winter 2000).
- ↑33. Scott. Domination and the Arts of Resistance. P. 20.
- ↑34. Foucault M. Politics and the Study of Discourse // The Foucault Effect: Studies in Governmentality: With Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault / Ed. G. Burchell, C. Gordon, and P. Miller. Chicago University of Chicago Press, 1991. P. 58.
- ↑35. Acton. Revolutionaries and Dissidents. P. 156.
- ↑36. Scott. Domination and the Arts of Resistance. P. 20, 25.
- ↑37. Scott. Domination and the Arts of Resistance. P. 191.
- ↑38. Khabkordin. The Collective and the Individual in Russia. P. 270.
- ↑39. Кривулин. Золотой век самиздата. С. 354.
- ↑40. Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. М.: Советский писатель, 1963. Английскую версию рассказа см.: Solzhenitsyn A. One Day in the Life of Ivan Denisovich / Trans. M. Hayward and R. Hingley. N.Y.: Praeger, 1963. О решении Главлита (Главного управления по делам литературы и издательств) 18 февраля 1974 года изъять копии этой книги из библиотек и книжных магазинов см.: Петров А. Документы из архива ЦК КПСС по делу А.И. Солженицына // Континент. № 75. 1993. С. 203.
- ↑41. Водопьянова З.К. и Горячева Т.М. История советской политической цензуры: Документы и материалы. М.: Росспэн, 1997. С. 587.
- ↑42. Двенадцать из открытых писем и призывов были адресованы объединенным нациям и другим международным организациям; двадцать четыре — Советскому правительству и десять — съезду КПСС, его Центральному Комитету и/или Политбюро. Архив самиздата — Материалы самиздата (далее АСМС), выпуск 9, AC № 623–699.
- ↑43. Гадамер Г.Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 222–223.
- ↑44. Bakhtin M. The Dialogic Imagination: Four Essays / Ed. M. Holquist, trans. M. Holquist and C. Emerson. Austin: University of Texas Press, 1981. P. 304, 359 (авторское выделение).
- ↑45. Bhabha H. The Location of Culture. N.Y.: Routledge, 1994. P. 115 (авторское выделение).
- ↑46. Loseff L. On the Beneficence of Censorship: Aesopian Language in Modern Russian Literature / Trans. J. Bobko. Munich: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1984. P. 217.
- ↑47. Scott. Domination and the Arts of Resistance. P. 14 (выделено автором статьи).
- ↑48. Butler J. Excitable Speech: A Politics of the Performative. N.Y.: Routledge, 1997. P. 84.
- ↑49. Официально заключенные не были арестованы по политическим причинам; чтобы избежать политических заключений, власть использовала эвфемизмы. Распространение листовок, к примеру, классифицировалось как «создание помех движению общественного транспорта».
- ↑50. Заключенные в это время начали ежедневную забастовку.

- ↑51. Сергей Солдатов, Вячеслав Чорновил, Герман Ушаков, Михаил Карпенюк, Бабур Шакиров, Николай Будулак и Маргонис Равиншп. Открытое письмо группы советских политических заключенных председателю Конгресса США, президенту Дж. Картеру // АСМС. Вып. 25. АС № 3021 (1977).
- ↑52. ГУЛАГ (в английском известный как “gulag”) — русская аббревиатура от Главного управления лагерей.
- ↑53. *Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977* / Ed. by C. Gordon. N.Y.: Pantheon Books, 1980. P. 136.
- ↑54. *Foucault. Power/Knowledge*. P. 142.
- ↑55. См., напр.: *Acton. Revolutionaries and Dissidents*. P. 160.
- ↑56. *Григоренко*. Сборник статей. С. 90.
- ↑57. *Brown W. States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995. P. 120.
- ↑58. Цит. по: *Нива Ж. Нужно ли плакать по диссидентству?* // Континент. № 88. 1998. С. 238.
- ↑59. *Kharbordin. The Collective and the Individual in Russia*. P. 278.
- ↑60. *Scott. Domination and the Arts of Resistance*. P. 191.
- ↑61. *Foucault. Politics and the Study of Discourse*. P. 58.
- ↑62. *Foucault. Power/Knowledge*. P. 141.
- ↑63. *Butler. Excitable Speech*. P. 133.
- ↑64. *Foucault. Power/Knowledge*. P. 131.
- ↑65. Алексей Юрчак доказывает сходное положение, говоря о «гегемонии репрезентации», или «гегемонии форм», которая определяла публичное выражение в позднесоветском обществе. В схеме Юрчака невозможность господствующего дискурса полностью определить ответ субъекта также имеет структурную природу. Однако вместо того чтобы подчеркивать отсутствие соответствия между позицией и функцией субъекта, он фокусируется на лингвистических условиях для подрыва господствующего дискурса, а именно — на структурной возможности «гетерономного сдвига», то есть таком семиотическом смещении, при котором официальные означающие сохраняют свои позиции, а означаемые подвергаются сдвигу. См.: *Yurchak. The Cynical Reason of Late Socialism: Power, Pretense, and the Anekdot* // Public Culture. 1997. No. 9. P. 166; *Yurchak. Hegemony of Form: The Unexpected Outcome of the Soviet Linguistic Project* (paper presented at the Social and Cultural Anthropology Colloquium, Stanford University, Stanford, Calif., 16 October 2000).
- ↑66. *Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики*. М.: Художественная литература, 1975. С. 156.
- ↑67. *Foucault. Politics and the Study of Discourse*. P. 59.
- ↑68. Лариса Богораз. Письмо к депутатам Верховного Совета СССР // СДС. Т. 8. АС № 556 (1970).
- ↑69. Аксенов и другие. Диссиденты о диссидентстве. С. 183.
- ↑70. Елена Андропова. Открытое письмо советскому правительству // АСМС. Вып. 19. АС № 2967 (1977).
- ↑71. Вячеслав Бахмин, Татьяна Великанова, Зинаида Григоренко, Петр Григоренко, Орион Квашневский, Александр Лавут, Раиса Лерт, Валентин Турчин, Глеб Якунин, Лариса Полуектова, Ирина Каплун и Ростислав Галетский. В Политбюро ЦК КПСС // АСМС. Вып. 23. АС № 3008 (1977). С. 5–6 (выделение в оригинале).
- ↑72. *Bourdieu. Language and Symbolic Power*. P. 170.
- ↑73. Открытое письмо Нины Буковской о ее сыне, Владимире Буковском, написанное в 1976 году, — хороший пример такой перемены. Письмо обращено «в международную организацию “Амнистия”, Лондон; в Международный комитет защиты прав человека, Париж; в Общество защиты прав человека, Франкфурт-на-Майне; Генсекр. КП Великобритании Дж. Голлану, ко всем людям доброй воли». — Нина Буковская. Открытое письмо // АСМС. Вып. 16. АС № 2521b (1976).
- ↑74. Юрий Орлов, Валентин Турчин и Татьяна Ходорович. Обращение к общественности западных стран // АСМС. Вып. 26–27. АС № 2160 (1975). С. 1 (выделение в оригинале).

- ↑75. Татьяна Ходорович. Выступление на пресс-конференции 22/VI-77 года // АСМС. Вып. 25. АС № 3018 (1977). С. 1, 3.
- ↑76. Аксенов и другие. Диссиденты о диссидентстве. С. 187.
- ↑77. *Verdery K.* What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996. P. 107–108.
- ↑78. *Bourdieu P.* The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power / Trans. L.C. Clough. Stanford: Stanford University Press, 1996. P. 41.
- ↑79. *Bourdieu.* Language and Symbolic Power. P. 209.
- ↑80. *Bourdieu P.* Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste / Trans. R. Nice. Cambridge: Harvard University Press, 1984. P. 461.
- ↑81. *Алексеева А.* Горбачев и диссиденты // СССР: Внутренние противоречия. № 19. 1987. С. 58.
- ↑82. *Sinyavsky A.* The Russian Intelligentsia / Trans. L. Visson. N.Y.: Columbia University Press, 1997. P. 5.
- ↑83. Аксенов и другие. Диссиденты о диссидентстве. С. 181.